

В ОБИТЕЛИ ТРУДОВ И ВДОХНОВЕНЬЯ¹

И.С. Дмитриев
доктор химических наук, профессор,
директор Музея-архива Д.И. Менделеева
Санкт-Петербургского государственного университета

*Тот, кто приносит общее благо,
всегда страшен....
Революция должна завершиться установлением
совершенного счастья.
Л.-А. Сен-Жюст [9, с. 290]*

ЭЛИЗИУМ СРЕДИ ПАНДЕМОНИУМА

Литература, посвященная влиянию событий Французской революции XVIII в. французскую науку и судьбы ученых, весьма обширна². В настоящей статье будет рассмотрено обратное воздействие научного дискурса и научной риторики *siècle de Lumières* на моральную и политическую мысль и риторику пред- и революционного времени.

Как уже не раз отмечалось в историко-научной и философской литературе, естественнонаучный опыт Нового времени деперсонализован, отдален от своего носителя, вытеснен из сферы его субъективности³ в сферу инструментального исследования [10, с. 85; 21]. Ситуация дистанцированности исследователя от изучаемого с одновременной вовлеченностью его в наблюдаемую реальность характерна не только для нововременной науки, но и для иных областей человеческой деятельности, в том числе и политики [10, с. 86-92]. Феномен дистанцированности-вовлеченности детально рассмотрен в монографии М. Ямпольского, где проанализированы различные грани этого феномена, а также его связь с феноменом любопытства, которое всегда связано с познанием, но «отличается от философского созерцания и эпистемологической пытливости. Объект любопытства часто маргинален, экзотичен, сенсационен. Истинным продуктом любопытства является кунсткамера, или собрание “редкостей”. <...>. Речь идет

¹Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект «Французское научное сообщество в эпоху Великой французской революции и Первой империи (1789 – 1815): социокультурные, политико-экономические и военные аспекты», № 07 – 03 – 00626а)

² В качестве наиболее информативных работ назову [30; 11; 29].

³ В частности, он перестал быть «памятью о многих вещах» [2, 12].

о познании, не основанном на поиске истинности или сущности» [10, с. 80]. Уходя от поиска истины, любопытство превращается «в чистое удовольствие от созерцания будоражащего воображение образа, который не включен ни в какую аналогическую, символическую связь, связь, которая была бы способна отвлечь сознание от нацеленного созерцания» [10, с. 80]. В итоге любопытство не в состоянии преодолеть границу видимости. Статус опыта в естествознании Нового времени создал указанную выше парадоксальную ситуацию, когда крайняя степень вовлеченности у любопытствующего сопряжена с крайней степенью его дистанцированности, отчужденности от наблюдаемого [10, с. 85].

К сказанному М. Ямпольским уместно добавить важное, на мой взгляд, замечание, для чего я обращусь к примеру функционирования *Jardin des plantes*, парижских королевских ботанических садов, трансформированных в 1793 г. в *Muséum National d'Histoire Naturelle*.

Ранняя история *Jardin des plantes* не очень ясна. По мнению некоторых авторов, она косвенно связана с развитием искусства вышивания. Долгое время узоры для вышивания переходили из рук в руки и копировались самими вышивальщицами. Однако с изобретением книгопечатания эти узоры делались все более доступными и тогда рисовальщики в поисках новых моделей стали обращаться к природе, и, как правило, к экзотическим растениям, привозимым из дальних стран. В самом начале XVII в. Жан Робэн (*J. Robin*), придворный садовник Генриха IV и Людовика XIII, чтобы помочь составителям узоров, заложил специальный сад, где разводил редкие растения, в названии одного из которых – *Robinia pseudo-acacia* – увековечено его имя. Цветочное заведение Робэна пользовалось большим успехом и вскоре было куплено Генрихом IV в казну, получив название *Jardin du Roi*. Бесспорно, однако, что создание *Jardin* диктовалось медицинскими и фармацевтическими потребностями. В 1626 г. Жан Эрюар (*J. Hérouard*), врач Людовика XIII, видимо, под влиянием кардинала Ришелье, предложил создать в Париже *Jardin royal des herbes médicinales*. В то же время другому придворному врачу Людовика XIII Гюи де ла Броссу (*Guy de la Brosse*) пришла идея воспользоваться садом Ж. Робэна для обучения студентов-медиков и будущих аптекарей. Кроме того, на специально отведенной невозделанной земле в поместье Сен-Виктор был, стараниями ла Бросса, заложен большой королевский *Jardin* (соответствующий эдикт о создании сада был подписан Людовиком XIII в 1635 г., официальное открытие состоялось в 1640). В 1650 г., уже при Людовике XIV, *Jardin royal des herbes médicinales*⁴ был открыт для публики. Уже в первые годы существования *Jardin* там культивировалось свыше 2000 растений. Впоследствии, в период интендантства (директорства), а по мнению Добантона – «диктаторства» Бюффона, продолжавшегося без малого столетия (с 1739 по 1788 г.), *Jardin des plantes* был значительно расширен. Был также преобразован – главным образом, усилиями упомянутого выше талантливого натуралиста и агронома Луи Добантона (*L. Daubenton*; 1716 –

⁴ В 1718 г. Сад был переименован в *Jardin royal des plantes*.

1799), приглашенного Бюффоном в помощники в 1745 г., – *Cabinet du Roi*, т. е. кабинет натуральной истории, созданный еще в 1729 г. Скопище несистематизированных предметов (лекарств, раковин, чучел, минералов, оружия «дикарей» и т. п.) превратилось в прекрасный научный музей.

Жорж-Луи Леклер, граф де Бюффон (*G.-L. Leclerc de Buffon*; 1707 – 1788) был человеком талантливым, деятельным и нахальным, не стесненным излишней щепетильностью в достижении своих целей. Так например, когда потребовалось расширить территорию *Jardin*, он, не дожидаясь отпуска казенных кредитов, скупал за свои деньги участки смежной земли в свою собственность, а затем с выгодой продавал их казне. Когда же один из арендаторов отказался уступить за бесценок свою землю Бюффону, тот просто велел разобрать зимой крышу дома строптивца и вынудил-таки его уехать. Бюффон рассматривал *Jardin des plantes* как свой личный бизнес и как свою вотчину. Ему даже удалось заручиться обещанием Людовика XV передать интендантство по наследству своему сыну.⁵ Но вернемся к характеристике Музея.

Muséum представлял собой публичное пространство, в границах которого были сосредоточены растения и животные, в естественных условиях, в «дикой» природе, вместе, как правило, не встречающиеся. Более того, в коллекциях Музея были собраны фрагменты организмов, живших на Земле в разные эпохи. Таким образом, *Muséum* синоптически представлял природный мир в единой, целостной пространственно-временной развертке, являя собой идеализированное – и вместе с тем реальное – пространство посреди революционного Пандемониума, *Элизиум*, если воспользоваться терминологией А. Фуркруа,⁶ расположенный вне пространства социальных и политических бурь и потрясений. *Muséum*, – при *Ancien Régime* место изысканного времяпровождения, интеллектуального отдыха просвещенной публики, – став в 1793 г. достоянием нации, должен был знакомить народ с естественной историей, что вполне отвечало якобинской риторике и идеологии, которая трактовала Природу и природное как этические понятия. Тем самым, *Muséum*, по замыслу лидеров револю-

⁵ Подр. см. [24, р. 131-198]. Когда в 1771 г. Бюффон-старший серьезно заболел и при дворе сочли, что он при смерти, король – учитывая что единственному законному наследнику интенданта («Бюффончику») всего 7 лет – решил передать руководство *Jardin* в руки графа д'Анживье. Однако здоровье Бюффона постепенно пошло на поправку и в итоге король, чтобы как-то успокоить огорченного натуралиста, компенсировал ему обиду различными милостями – возвел Бюффона в графское достоинство, распорядился поставить ему при жизни памятник в *Jardin des plantes* и т. д.

⁶ «Ces jardins seront un Elisée dont l'ami de la Nature n'approchera qu'avec respect» - из речи Фуркруа на похоронах Л. Добантона (январь 1800 г.). См.: [27, р. 9]. Термин Элизиум (Ἠλύσιον πεδῖον) впервые упоминается в *Одиссее* (IV, 563), и означает далекую область на окраине Вселенной, где царствует светловласый Радаманф. Там нет бурь и непогод, но постоянно с океана веет зефир. Впоследствии представление об Элизиуме развилось и слилось с представлением об «островах блаженных», помещавшихся на краю океана, на крайнем западе. Сюда же относится и представление об острове Левке, где наслаждаются бессмертием Ахилл и другие герои. У Гесиода (*Труды*, 167 и сл.) на островах блаженных пребывают все герои, сражавшиеся в знаменитых войнах древности. Острова эти необычайно плодородны и управляются Кроносом. Любопытное развитие понятия об островах блаженных находим у Пиндара (*Од.* II, 140 и сл.), где оно возвышается до степени понятия о загробном воздаянии, и у Платона (*Горгий*, 626С.), по которому истинный мудрец отсылается Радаманфом на острова блаженных. Кювье называл *Muséum* «le temple le plus grand et le plus beau qui ait été consacré à la nature» [20, р. 436].

ции, должен был способствовать трансформации бывших королевских подданных в равноправных граждан «Республики всеобщего блага», т. е. создавать новый тип идеальной личности, автономной и потому легитимной («нации ... должны пониматься как индивиды вне социальных связей и, как говорится, в природном состоянии», – писал Э. Сьейес [цит. по: 10, с. 99]). Действительно, где, как не в его садах, оранжереях, зверинцах и павильонах нация – этот новый суверен⁷ – могла узреть порядок Природы. Пространство *Muséum* представляло собой артефактное пространство якобинской социальной утопии, местом культивирования рациональной добродетели. Именно благодаря этой своей идеологической и символической роли бывший *Jardin du Roi* избежал участи королевской *Académie des sciences*.

Более того, именно в годы Террора и в посттермидорианский период *Muséum* засвидетельствовал известный расцвет. Декрет Конвента от 10 июня 1793 г., принятый по инициативе депутатов Ж. Лаканала (*J. Lakanal*) и А. Тибо-до (*A. Thibaudeau*), поддержавших идеи Добантона, предусматривал создание двенадцати кафедр (вместо прежних трех: ботаники, анатомии и химии). Собрание профессоров, возглавлявших эти кафедры⁸ и имевших одинаковые права и оклады, ежегодно избирало из своего числа президента (должность интенданта была упразднена), который подчинялся министру внутренних дел (главным образом, в финансовых вопросах). Согласно новому, революционному уставу *Muséum* должен был вести просветительскую и учебную работу по всем нефизико-математическим наукам, а не только по ботанике *par excellence*, как это было ранее. Таким образом, заветная мечта Добантона соединить в *Jardin/Muséum* три направления деятельности – учебное, исследовательское и собственно музейное (собрание, хранение и систематизацию естественнонаучных экспонатов) – смогла, наконец, осуществиться в полной мере.

Якобинский террор и войны (сначала так называемые революционные, а затем наполеоновские) стали одним из основных источников пополнения му-

⁷ В Конституции, принятой Учредительным собранием 3 сентября 1791 г., в силу необходимости как-то примирить заявление о том, что «источник любого суверенитета зиждется по существу в Нации» с фактом существования королевской власти, было записано, что «Нация, которая единственная является источником всех властей, может осуществлять их лишь путем делегирования». В тексте же Конституции (статья 25), принятой Конвентом 24 июня 1793 г., понятие нации было фактически заменено понятием «народа-суверена».

⁸ Р.-Л. Дефонтен (*R.-L. Desfontaines*) – профессор ботаники, А. Фуркруа – профессор химии, А. Порталь (*A. Portal*) – профессор анатомии человека, А.-Л. де Жюссье (*A.-L. De Jussieu*) – профессор полевой ботаники (*botanique à la campagne*), Г. ван Спендонк (*G. Van Spaendock*) – профессор иконографии, А. Туэн (*A. Thouin*) – профессор садоводства, А.-Л. Броньяр (*A.-L. Brongniart*) – профессор химии в ее применении к промышленности, Л. Добантон – профессор минералогии, А. Мертрюд (*A. Mertrud*) – профессор анатомии животных (затем Кювье переименовал эту кафедру, назвав ее кафедрой сравнительной анатомии), Б. Фойас де Сент Фон (*B. Faujas de St. Fond*) – профессор геологии, Ж.Б. Ламарк (*J.B. Lamarck*) – профессор зоологии насекомых, червей и микроскопических животных, Б.-Ж.-Э. де Ла-Виль-сюр-Иллон, граф де Ласепед (*B.-G.-E. De-sur-Illon, comte de Lacépède*) – профессор зоологии четвероногих, птиц, рептилий и рыб. После вынужденного отъезда Ласепада из Парижа в 1794 г. его кафедра была разделена на две – зоологии млекопитающих и птиц (ее возглавил Э. Жоффруа Сент-Илер (*E. Geoffroy Saint Hilaire*)) и зоологии рептилий и рыб (ее занял Ласепед, по возвращении, в 1794 г., в Париж). Из приведенного списка только Жоффруа не был связан с *Muséum* до 1789 г.

зейных коллекций.⁹ Вот уж поистине – «пожар способствовал ей много к украшенью»!

Так, бывший королевский зверинец был перемещен из Версаля в *Muséum*.¹⁰ Музейный минеральный кабинет пополнился замечательными собраниями принцев Конде, а библиотека и коллекции «специменов» сильно увеличились за счет «конфиската», т. е. собственности арестованных, гильотинированных и *émigrés*. Но этого мало. В 1794-1795 гг. после внушительных побед революционных армий и последующих дипломатических переговоров Франция получила часть территории Пруссии, испанскую часть Сан-Доминго, голландскую Фландрию, Маастрихт и Венло, а также Бельгию. При этом вслед за военными на завоеванной территории тут же появлялись люди науки (*commissaires des sciences*), среди коих были и профессора *Muséum* – биолог Андрэ Туэн, с 1764 г. главный садовник в *Jardin*, секретарь Бюффона, а также геолог и путешественник, автор работ по воздухоплаванию на воздушных шарах Бартеlemi Фойас де Сент Фон (его именем назван минерал фойясит), – которые подчистую конфисковывали все научные коллекции, книги и инструменты.¹¹ Лучший способ освободить науку от деспотизма – это отправить все награб... , простите, освобожденное от оков тирании напрямиком в Париж.¹² Самым впечатляющим эпизодом этой грандиозной операции стала отправка в *Muséum* из Гааги двух живых слонов из коллекции голландского штатгальтера (вместе, разумеется, со всем зверинцем и прочими коллекциями). В *city* свободы, равенства и братства слоны благополучно пережили Конституцию III года, Директорию, II Вандейскую войну, заговор Бабефа, перевороты 18 фрюктидора и 18 брюмера, Конституцию VIII года, после чего один из них в 1802 г. перешел в лучший из миров, как раз после блестящего завершения военной экспедиции генерала Бонапарта, сопровождаемого цветом французской науки, куда-то в направлении исторической родины штатгальтера животного. Второй слон оказался более живучим, он

⁹ По словам Д. Оутрам, «*the Muséum was the direct beneficiary of the Terror and the Revolutionary and Napoleonic wars*» [39, P. 164].

¹⁰ В XVI и XVII вв. зверинцы часто устраивали при дворах европейских правителей. Диких животных держали в Тауэре, в Версале, Потсдаме, Турине, Дрездене, Касселе, Гааге и Штуттгардте.

¹¹ См. [17, p. 354-374; 38, p. 251-257; 50, p. 860-863; 48, P. 67-123; 49, p. 197-209]. Впрочем, идейных наследников Руссо и Даламбера отличала широта замыслов (особенно в предприятиях такого рода), а потому людей науки сопровождали также специалисты по искусству. Как было сказано одним депутатом Конвента, «мы имеем большее право, нежели римляне, утверждать, что сражаясь с тиранами, мы защищаем искусство ... Ван Дейк и Рубенс уже на пути в Париж, фламандская школа воскресла *en masse* и украсит наши музеи». Предвижу возражение – мол, нельзя модернизировать нравы, поступки и практику далекой эпохи, это неисторично. Люди действовали в соответствии с *droit du vainqueur*, так было принято. Абсолютно с этим согласен. За двести с лишним лет нравы и практика времен Робеспьера и Наполеона так модернизировались, а права победителей так расширились, что ни о каком сравнении и речи быть не может.

¹² Как заметил Ф. Бойер, «выполняя зимой 1794 – 1795 гг. свою миссию в Бельгии и на левом берегу Рейна, Туэн и Фойас действовали двояко: они то конфисковывали, то ограничивались наблюдениями, записями или зарисовками» [16, p. 251 – 257]. Действительно, когда, к примеру, внимание комиссаров Конвента привлекли угольные копи в районе Льежа, то в силу физической невозможности вывезти это месторождение во Францию, пришлось заняться описаниями и кое-каким художественным творчеством – «мы сделали рисунки нескольких машин, которые облегчают эксплуатацию [месторождения] и экономят человеческий труд», – докладывали Туэн и Фойас Комитету народного образования 2 брюмера III года [16, p. 253]. А все потому, что эти хитрые голландцы были «*toujours mystérieux*», когда дело касалось технологических усовершенствований.

дотянул до убийства герцога Энгийенского и коронации Наполеона. Но и после смерти бывшие узники голландского деспотизма продолжали верно служить науке своей третьей родины – Ж. Кювье, внимательно изучив их останки и сравнив последние с останками мамонтов, представил в *Annales du Muséum d'Histoire Naturelle* замечательный мемуар «*Sur les éléphants vivants et fossiles*».

Конвент высоко оценил заслуги своих ученых. Было отмечено, что «граждане Фойас и Туэн, соединяя патриотизм и просвещенную любовь к наукам, осуществили доставку этого кабинета (т.е. естественнонаучных коллекций бывшего штатгальтера Голландии Вильгельма V. – И.Д.) в целостности и сохранности» и собранные ими материалы будут способствовать «процветанию Республики» [16, р. 257]. Позднее, в 1808 г. аналогичную миссию в Испании и Португалии выполнял Э. Жоффруа Сент Илер [32, Р. 1-82]. Вернемся однако в *Muséum*, куда попала большая часть естественнонаучных коллекций, вывезенных из других стран Европы по праву победителя или полученных по обмену или в дар.

Как уже было сказано, политико-воспитательная функция *Muséum* состояла в демонстрации широкой публике порядка Природы. Однако, при этом за скобками оставалось то обстоятельство, что хотя кое-какой порядок в этом Элизиуме действительно был, но – именно в силу сосредоточенности в нем растений и животных, кои в вольной природе вместе никогда не сосуществовали – *естественного* в нем было не больше, чем в регулярной проницаемости парковых пространств Версаля [10, с. 163-183]. Если королевский парк имитировал природу, «прежде всего имитируя силу и энергию творения» [10, с. 171], то пространства *Muséum*, т. е. публичные пространства-репрезентаторы дикой природы, расположенные среди хаоса и раздрая урбанизированной жизни, демонстрировали неисчерпаемое много- и разнообразие сотворенной Природы, т. е. искусственно (механически) размещая в музейном подпространстве конгломерат видов, «естественные отношения» (Кювье) которых оставались неясными, имитировали земной Рай, состоящий из «индивидов вне социальных связей». Речь шла, таким образом, не о реальной природе, но о «просветительской идеологеме Природы как обобщенного, нерасчлененного единства» [3, с. 27]. Такая Природа-субстанция виделась Руссо и его последователям источником первоначальных «естественных» ценностей.

В то же время само сообщество естествоиспытателей, призванное изучать гармонию Природы и просвещать публику, со второй половины XVIII столетия начало раскалываться по одной застарелой, но до поры малозаметной трещине, прошедшей также и по штату Музея натуральной истории. Начну с примера, немного забежав во времени вперед, в период Консульства.

Как известно Наполеон, отправляясь в египетский поход, пригласил принять в нем участие ведущих французских ученых. Тем самым, кампания Бонапарта наряду с тривиальным военно-политическим окрасом обретала также полутона научно-исследовательского предприятия, характерного для века Про-

свещения. Однако, отнюдь не все светила французской науки приняли предложение Первого консула Республики. Некоторые, как, например, Г. Прони, Фуркруа и Кювье, отказались. Разумеется, у каждого на то были свои резоны. «Мой расчет, – объяснял свой отказ Кювье, – таков: я сейчас нахожусь в центре наук, среди самых замечательных коллекций и уверен, что здесь [в Париже] напишу свои лучшие, куда более совершенные и систематические работы и сделаю куда более важные открытия, нежели участвуя даже в самом плодотворном путешествии» [цит по: 39, Р. 61]. В тоже время Э. Жоффруа живо откликнулся на генеральское приглашение и отправился в Египет, где чуть было не потерял зрение, да, и жизнь его оказалась в опасности [31]. За столь разным отношением двух, тогда еще близких друзей, к возможности участия в египетском походе, стояло нечто большее, нежели мотивы личного выбора, продиктованные житейскими или карьерными соображениями. Яснее всего об этом спустя несколько лет сказал Кювье: «Между стилем и идеями путешествующего и кабинетного натуралиста (*du naturaliste voyageur et ... du naturaliste sédentaire*), равно как и между их талантами и характерами, существуют, как правило, сильные различия. Первый преодолевает, с той или иной скоростью, многие и разнообразные местности, дивясь великому множеству интересных объектов и живых существ. Он наблюдает их в естественном окружении (*dans les lieux même où les plaça la nature*) и в их подлинном отношении со всем, что находится вокруг них и во всей полноте их жизни и деятельности. Но каждому из них он в состоянии уделить лишь немного времени И потому он лишен возможности сравнивать каждый объект с другими, ему подобными и досконально описать его характерные черты... . В итоге, его наблюдения оказываются разрозненными и беглыми (*isolée et fugitives*) Кабинетный же натуралист, действительно, опирается на описания живых существ отдаленных стран, сделанные другими и подверженные в той или иной мере ошибкам, а также на более или менее испорченные (*altérés*) образцы. Да, он не может прочувствовать зрелищ природы так, как тот, кто видел их воочию. Тысячи мелких деталей ... ускользают от него. Однако эти недостатки его положения вполне компенсируются его преимуществами. Хотя кабинетный натуралист и не видит природы в действии, он, тем не менее, может детально изучить находящиеся перед ним ее произведения. Он может их сопоставлять друг с другом столько, сколько ему нужно, чтобы придти к достоверным выводам. Он сам выбирает и формулирует те вопросы, на которые затем будет искать ответ. Он может изучать природные образцы тогда, когда ему это будет удобно. Он может сопоставлять разрозненные факты, изложенные в разных отчетах. Путешественник же вынужден идти только одним путем (*une route étroite*), и только сидя в своем кабинете, натуралист имеет возможность свободно путешествовать по миру в различных направлениях (*l'on peut parcourir l'univers en tout sens*). Но для этого от него требуется мужество иного рода, мужество, кое берет начало в безграничной преданности истине и которое позволяет

натуралисту оставить предмет его изысканий лишь тогда, когда с помощью размышлений, наблюдений и эрудиции он высветит его настолько, насколько это возможно при данном состоянии знаний» [13].

Если вдуматься, позиция Кювье несколько озадачивает. Ведь далеко не все натуралисты в XVIII в. ездили по миру в качестве любителей экстремального туризма. Тот же Фойас, интересовавшийся вулканическими породами, отправлялся в экспедиции часто с очень конкретными научными целями (если, конечно, не считать некоторых спецкомандировок по заданию Конвента), успешно сочетая полевые и кабинетные исследования. Пафос антигумбольдтовского по своему генезису выступления Кювье заключался не в «обличении» методов работы *naturalistes voyageur* как таковых, а в противопоставлении двух стилей исследования. Здесь уместно обратиться к его поминальной речи (*éloge historique*), произнесенной в Институте Франции 5 апреля 1800 г. и посвященной памяти Добантона. Кювье сравнил исследовательские манеры и темпераменты Бюффона и Добантона:

«Бюффон, крепкого сложения, импозантного вида, властный по природе, жадный до всякой скорой радости, казалось, хотел угадать истину, а не наблюдать ее. Его воображение каждое мгновение становилось между ним и природой...».

«Добантон, человек слабого темперамента, с кротким взором, с умеренностью, которой он был обязан природе в такой же мере, как своей собственной мудрости, вносил во все свои исследования осмотрительность самую скрупулезную; он верил только тому, что он видел и трогал, и только это решался утверждать. <...> С неистощимым терпением он возвращался к той же работе до тех пор, пока она не удовлетворяла его, и методом, быть может, слишком редким среди людей, занятых естественными науками, все ресурсы его духа, казалось, объединялись, чтобы заставить молчать его воображение. <...>. Он запирался на целые дни в Кабинете [естественной истории]; он на тысячу ладов поворачивал предметы, которые он там собрал; он скрупулезно рассматривал все их части; испытывал все возможные положения до тех пор, пока не находил такое, которое не шокировало ни глаз, ни естественные отношения» [цит. по: 4, с. 176-178].

В приведенных фрагментах из работ Кювье, просматривается, как мне представляется, еще одна тема (или контекст). Наука, как практически любая область человеческой деятельности, характеризуется своими пространственными формами, которые (если ограничиться реалиями XVIII столетия), в первом приближении можно классифицировать следующим образом:

- искусственно созданная (рукотворная) среда, архитектурная (здания и помещения лабораторий, кабинетов, оранжерей, библиотек и т. д.) и ландшафтная (ботанические и зоологические сады и иные «*domestic environments*» [40, P. 249];

- «дикая», часто экзотическая (на взгляд европейца), природа.

Кювье в приведенных выше фрагментах противопоставил эти два пространства путем противопоставления мотиваций, методологических подходов и исследовательских установок «населяющих» эти пространства натуралистов. Натуралист-путешественник, «глотатель широт» (М. Цветаева), преодолевающий бесчисленные препятствия, постоянно рискующий здоровьем и жизнью – и потому предстающий в глазах широкой публики в героическом ореоле – чутко реагирует на увиденное им в природе. Кювье же, отдавая должное заслугам *naturaliste voyageur* – иначе и быть не могло, ведь кто-то должен обеспечивать кабинетного сидельца необходимым материалом, – делает акцент на физической, эпистемологической и психологической удаленности *naturaliste sédentaire* от вечнозеленеющего древа жизни (если воспользоваться известной метафорой И.-В. Гете: «*Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, und grün des Lebens goldner Baum*»). Истинное знание берет начало не из романтического или мистического слияния с живой Природой, но из дистанцированности, даже отчужденности исследователя от изучаемого объекта, что требует мужества особого рода, о котором удачно сказала Д. Оутрам – «*courage mean the courage to look steadily: look in the face of Medusa, he* (т.е. Кювье. – И.Д.) *seems to be saying*» [40, P. 262]. Эта позиция отчасти коррелирует с нововременным идеалом «искусственно-изолирующего» (А.В. Ахутин), деперсонализованного опыта и в то же время, как мне представляется, ясно перекликается с той отстраненностью, чуждостью социуму, исключенностью из общественного договора, которые, по мысли Сен-Жюста (см. его слова, вынесенные в эпиграф данной статьи), характерны для носителя общего блага, т. е. идеализированной социальной истины. Этот носитель ино-ментален тем, кто населяет «пространство ненарушимого, однородного единства, в котором единение воля обеспечивает господство добродетели и свободы» [10, с. 466].

Подобно тому, как утопическое публичное пространство *Muséum*, встроенное на пике Террора в идеальное пространство общественного договора, топографически отделенное от пространства Гревской площади, оказалось совместимым (конгруэнтным) с главной утопией Революции – идеей нации-суверена, коей суждено было избавить общество от конфликтов, – так образ *naturaliste sédentaire*, эдакого *Homo clausus*, по терминологии Норберта Элиаса, т. е. образ своего рода следователя по делам Природы, контролирующее око и испытующий разум которого должны были заменить отзывчивое сердце и пылкое воображение *naturaliste voyageur*, оказался конгруэнтен новому типу идеальной личности, в которой лидеры Французской революции надеялись найти опору новому режиму.

КОМБИНАТОРИКА ТЕРРОРА

Теперь обратимся к иным аспектам соотнесенности научной и политико-идеологической практики в рассматриваемую эпоху.

Как известно, метафора Закона – одна из распространеннейших во время Французской революции. «Я представляю себе закон в центре гигантской сферы; все граждане без исключения находятся на равном от него расстоянии на ее поверхности и занимают на ней равные места», – писал Э. Сьейес [46, р. 209]. Откуда, по мере радикализации революции, делался неизбежный вывод: все, кто оказываются вне поверхности этой сферы, т. е. любая общественная сила, индивид или группа, нарушающие «абсолютную недифференцированную однородность общей воли» [10, с. 645] должны быть уничтожены; как выразился Л.-А. Сент-Жюст, необходимо создать такой порядок, чтобы «фракции оказались на эшафоте» [9, с. 114].

По тонкому наблюдению М. Ямпольского, «среди архитектурных проектов Французской революции особое место занимают памятники (храмы) закону... <...> ... В основу кладется некий принцип *геометрической структуры* – приемы ли, сферы ли, позволяющий осуществить то, что Люсьен Жом называет “атомизмом с эгалитарной установкой”, истоки которого он обнаруживает у Гоббса [36, р. 165]. Этот атомизм идеально отражается в сфере Сьейеса, на поверхности которой располагаются совершенно одинаковые точки-граждане. В принципе такая геометрическая модель хотя и отличается от структуры линейной перспективы, сохраняет явную связь с абсолютистской репрезентацией, где каждая точка пространства в ценностном отношении равна любой иной точке пространства, за исключением точки зрения и точки схода перспективы. Закон в центре сферы в значительной мере эквивалентен точке схода, он является тем *центром, который организует равенство граждан*» [10, с. 399, 404].

Однако наряду с детально рассмотренной М. Ямпольским *геометрической* репрезентацией власти и социума имела место также их, условно говоря, *арифметическая* репрезентация, путь которой был открыт и выраженным в сфере Сьейеса пониманием закона и государства (по словам Л. Жома, «отныне Государство должно быть понимаемо как коллективный Индивид, а также как гигантская машина, составленная из колесиков, каждое из которых будет выполнять ту задачу, которую ему предпишет инициативный Центр» [цит. по: 10, с. 637]), и характерной для века Просвещения тенденцией к квантификации реальности – природной и социальной.

По мысли Бернара де Фонтенеля, неперменного секретаря Парижской академии наук в 1697 – 1740 гг., расцвет литературы в его время был обусловлен в первую очередь распространением того, что было им названо *l'esprit géométrique*, а в XX столетии Джоном Хейлброном – *the quantifying spirit* [26, р. 14; 35, Р. 2]. И тот, и другой термин означал страсть к порядку, систематизации, измерению и калькуляции, что предполагало частичную или полную деиндивидуализацию калькулируемых объектов. На мой взгляд, точнее было бы говорить о *комбинаторно-калькулирующем* подходе к репрезентации реальности. Страсть к комбинаторно-калькуляционным процедурам нашла свое выражение не только в естественных и прикладных дисциплинах – от физики до лесо-

водства, но и в гуманитарной и социально-политической сферах. Вот несколько характерных примеров.

Размышляя о трагической судьбе Марии-Антуанетты, Эдмунд Берк заметил: «век рыцарства миновал, пришло время жуликов, экономистов и калькуляторов...»¹³.

Роялистские печатни распространяли афиши, на которых был изображен *le calculateur patriote*, сидящий за столом, на котором свалены отрубленные головы врагов революции, и ведущий учет казненных в отдельной книге [28, Р. 154]. В этом контексте известные «расчеты» Марата – сколько голов следует отрубить для полного счастья французского народа – вполне вписываются в калькулирующую риторику века Просвещения.

«Искусство расчета вообще (*L'art de calculer en général*), – читаем в «Энциклопедии» Дидро и Даламбера (статья «*CALCUL*»), – есть в сущности искусство находить единственное отношение, которое получается из комбинации нескольких отношений. Различные типы комбинаций дают различные правила *вычисления (calcul)*» [23, р. 545].

Комбинаторно-калькуляционный дискурс ясно выразился в сочинениях Этьенна Бонно де Кондильяка, чье влияние на становление и характер психологии и эпистемологии во Франции эпохи Просвещения было глубоким и длительным. Кондильяк понимал метод анализа и как инструмент исследования действий (*opérations*) ума, и как способ описания этих действий: «это действие [анализ] состоит лишь в сочетании наших идей и их расчленении, с тем, чтобы подвергать их различным сравнениям и посредством этого обнаруживать отношения между ними и новые идеи, которые они могут породить. Этот анализ – подлинный путь к открытиям, потому что благодаря ему мы устанавливаем происхождение вещей. <...> Он ищет истину без всякой помощи общих предложений, а всегда посредством своего рода исчисления (*par une espèce de calcul*), т. е. сочетая и расчленяя понятия ...» [6, с. 114].

Французский инженер Гаспар де Прони в неопубликованной статье «*De intelligence moyenne et de ses progrès*» писал: «Средний ум (*l'intelligence moyenne*) характеризует и измеряет превосходство одного народа над другим. Принимая за точку отсчета (*pour terme de comparaison*) его состояние во Франции, мы можем составить детальную и градуированную таблицу (*un tableau nuancé et gradué*) для всех народов Европы» [43].

Для Кондильяка, Даламбера, Кондорсе и многих других философов XVIII-го столетия, мышление представляло собой своего рода комбинаторное исчисление («*a combinatorial calculus*», по выражению Лорен Дагстон [21, Р. 191]), подобно тому как арифметика была «искусством комбинирования [численных] отношений» [23, р. 675]. Сила ума – искусного калькулятора – выражалась прежде всего в его способности расчленять, сопоставлять и рекомбинировать

¹³ См. [18, Р. 170]. По поводу этого высказывания Берка Т. Пэйн бросил реплику: «He [Burke] pities the plumage but forgets the dying bird». [41, Р. 75].

идеи согласно определенным правилам. «Мы в сущности не создаем идей, – убеждал читателей Кондильяк, – а лишь комбинируем путем сочетания и расчленения те идеи, которые мы получаем через органы чувств. Изобретательность состоит в умении делать новые сочетания» [6, с. 131]. И поскольку «здравый смысл, ум, разум и их противоположности происходят одинаково из одного и того же начала, коим является связь идей друг с другом», связь, «которая порождена применением знаков» [6, с. 135], то посредственность, талант и гений отличаются не, так сказать, качественно, а лишь по степени владения искусством сочетания (комбинаторики) идей, что в свою очередь зависит от степени развития языка (и вообще знаковых систем), которую застаёт данный индивид или данная нация в данную эпоху («успехи Ньютона были подготовлены тем выбором знаков, который был сделан до него, и методами исчисления (т. е. комбинаторики знаков. – И.Д.), которые были до него придуманы» [6, с. 264]) и от степени умственного развития индивида, чему способствует правильное обучение, т. е. обучение, следующее «урокам, которые дает нам природа» [5, с. 185].

Экспансия комбинаторно-калькулирующего дискурса в сферы морали и политики давала порою «странные сближения» идей. Считалось, к примеру, что одни пороки (скажем, жадность), сочетаясь с другими, могут эти другие (например, честолюбие) ослаблять. К тому же, если поведение человека, диктуемое его порочными наклонностями, может легко просчитываться, то тогда эти наклонности становятся управляемыми, а потому не столь опасными для окружающих. Иными словами, калькулируемый порок не намного хуже добродетели, ибо предсказуем и, в принципе, нейтрализуем. (Как в известной песенке: «На жадину не нужен нож / Ему покажешь медный грош / И делай с ним, что хошь»). Типичный пример – когда героиня *The History of Rasselas, Prince of Abissinia* (1759), единственного романа Сэмюэля Джонсона, «литературного диктатора» Англии XVIII века, узнает, что похитивший ее араб падок на золото, она утешает себя тем, что «алчность – порок заурядный и предсказуемый (*a uniform and tractable vice*)» [37, P. 93]. При этом некоторые авторы предлагали количественные оценки тех или иных моральных качеств. Так, Фрэнсис Хатчесон ввел понятие «*moment of good*» (M) некоего поступка, математически определив этот момент как произведение *benevolence* (благожелательности, великодушия) на *ability* (способность делать добро): $M = B \cdot A$.¹⁴

¹⁴ См.: [Hutcheson F.] An Inquiry Concerning Moral Good and Evil « // An Inquiry into the Original of our Ideas of Beauty and Virtue (полное название в переводе на русский звучит так: «Исследование о происхождении наших идей красоты и добродетели в двух трактатах, в которых принципы покойного графа Шефтсбери объяснены и защищаются против автора басни о пчелах, а идеи морального добра и зла устанавливаются согласно суждениям древних моралистов с попыткой ввести математическую калькуляцию в предмет нравственности». – И.Д.). London, 1725. P. 168. Рассматривая правила суждения о нравственности действий, исходя из их мотивации или оценки склонностей, побудивших к действию, Хатчесон осознавал сложность проблемы. «Ведь сентименталистский характер проявлений добродетельных склонностей скрывает от нас субъективные мотивы действий. Сам агент может не отдавать в них отчета. Личная интроспекция подтверждает это. Помочь делу может установление общих правил для определения сравнительной ценности добродетельных действий. Тут снова можно

Бентам уверял читателей, что составляемые им суммы и разности величин удовольствия и страданий есть «*nothing but what the practice of mankind*» [12, P. 40].

Здесь уместно также вспомнить приведенное Дж. Свифтом сатирическое описание комбинаторной машины Большой Академии Лагадо «для усовершенствования умозрительного знания при помощи технических и механических операций». Благодаря этой машине, выдающей с помощью сорока учеников разнообразные случайные комбинации слов, «самый невежественный человек с помощью умеренных затрат и небольших физических усилий может писать книги по философии, поэзии, политике, праву, математике и богословию при полном отсутствии эрудиции и таланта» [8, с. 122].

Отголоски комбинаторного мышления слышны в замечании английского мемуариста Генри Йорка: «... французские химики почти повсеместно были наиболее преисполненными энтузиазмом агентами революции. Возможно, они тешили себя надеждой, что люди могут объединяться и разъединяться подобно тому, как это имеет место в химических процессах (*mankind are capable of being composed and decomposed after the model of a chemical process*). И, конечно, не будет абсурдным (*irrational*) приписывать это их революционное рвение врожденной любви к экспериментам» [52, P. 314].

Комбинаторно-калькуляционный дискурс часто воспринимают как проявление механистического взгляда на природу, человека и общество. И в этом есть свой резон, но с той, однако, оговоркой, что в эпоху Просвещения понятие *calcul* все-таки еще не обрело вполне механистическую форму, поскольку ум и даже моральное чувство хотя и мыслились как наделенные способностью к исчислению, однако способность эта, *во-первых*, не проявлялась изолированно, а только в сочетании с умозрением и способностью морального суждения, а *во-вторых*, и это особенно важно, калькуляция не стала еще монотонной, утомительной *подсобной* работой, обыденной и автоматической, тогда как механицизм в когнитивной сфере был связан с репрезентацией интеллектуальных процессов по аналогии с *automata*. Даже в знаменитой *L'Homme Machine* Жюльена Деламетри калькулирующий ум еще не превратился в, как выразилась Л. Да-стон, «*the oxymoronic mechanical intelligence*». ¹⁵ Гигантская вычислительная ра-

попытаются применить калькуляцию. При одинаково добром поступке двух агентов при неравенстве их способностей первенство принадлежит тому, чьи способности слабее. Но как установить мерилу склонности? В том случае, когда человек находится во власти частного интереса, следует вычесть из мотивов величину эгоистических желаний и остаток покажет величину добродетели. Далее предлагается алгоритм подсчета моральной низости недобрых и чисто эгоистических наклонностей, ведущих к причинению обществу вреда. Сила их прямо пропорциональна причиненному злу и обратно пропорциональна способностям. Вообще правила суждения о моральности действий, исходя из сравнительного объема или количественной характеристики склонностей, по сути являются рационалистической методом подсчета морального эффекта, от которой Хатчесон отказался в 4 издании Трактата о морали (1738)». См.: [1, с. 74].

¹⁵ См.: [21, P. 193]. Вообще задача Деламетри – уподобление ума телу, а не того и другого машине, отсюда его акцент на способности ума к воображению, которая часто понималась как наиболее «телесная» из всех умственных способностей.

бота служила предметом восхваления и вызывала почтительное изумление. Приведу характерный пример.

В начале 1790-х гг. в Париже шла активная работа над проектом, который в глазах современников представлял собой своеобразный памятник Разуму, но в отличие от других многочисленных аллегорий Разума (алтарей, статуй, обелисков, пирамид и прочих атрибутов революционного театра) этот монумент был совсем иного рода. Под руководством инженера Гаспара-Клэр-Франсуа-Мари Риш, барона де Прони (*G.-C.-F.-M. Riche, baron de Prony*, 1750 – 1839) два десятка «калькуляторов» заполняли семнадцать томов *elephant folio* логарифмических и тригонометрических таблиц, кои, как было сказано в правительственной инструкции,¹⁶ «не только не оставляли желать ничего лучшего в отношении точности, но также представляли собой самый грандиозный и величественный памятник искусству вычисления, который когда-либо сооружался или задумывался» [44, р. 49]. Создание этих невиданных таблиц мыслилось как часть мероприятий по составлению земельного кадастра Франции. Но по разным причинам (незавершенность исследований по разработке метрической системы мер, недостаточное финансирование) дело затягивалось. Кроме того, хваленая беспрецедентная точность¹⁷ была, как признавал сам Прони, в то время никому не нужна (уж во всяком случае в кадастровых и многих иных практических работах). Наконец, таблицы были неудобны в пользовании, поскольку предполагали деление прямого угла не на привычные 90, а на «революционные 100 градусов», а каждый градус – на 100 столь же революционных минут, поскольку по первоначальному замыслу введение метрической системы предусматривало децимализацию всех величин, в том числе угловых градусов и единиц времени.¹⁸ Причем консервативная Парижская академия наук охотно поддержала и эту часть метрологической реформы. Но это не спасло Академию от роспуска,

¹⁶ Работа велась по заказу правительства кадастровым управлением (*Bureau du Cadastre*), созданным в 1791 г. и возглавлявшимся упомянутым де Прони.

¹⁷ В парижской обсерватории с 1797 г. хранятся два экземпляра порознь вычисленных рукописных таблиц, по 17-ти томов в каждом экземпляре. Они заключают 10 000 натуральных синусов с 25-ю десятичными знаками и восемь столбцами разностей, логарифмы 100 000 синусов с четырнадцатью десятичными знаками и пятью столбцами разностей, логарифмы отношений синусов к дугам для 5000 дуг до 1/8 доли окружности, с четырнадцатью десятичными знаками, такая же таблица отношений тангенсов к дугам, логарифмы чисел от 1 до 100 000 с девятнадцатью знаками и от 100 000 до 200 000 с двадцатью четырьмя знаками и пятью столбцами разностей.

¹⁸ Подроб. см.: [25, р. 191 – 207]. Впрочем, деление прямого угла на 100 градусов, града — на 100 минут, минуты — на 100 секунд было предложено Лагранжем еще в 1782 г. Кроме того, декрет от 24 ноября 1793 г. ретроспективно ввел, начиная с 22 сентября (дня осеннего равноденствия) 1792 г., новое летоисчисление – со дня установления Французской республики. Год, согласно республиканскому календарю, делился на 12 равных месяцев по 30 дней в каждом, в конце года добавлялось 5 или 6 дополнительных дней. Каждый месяц делился на 3 декады. Сутки делились на 10 часов, каждый час — на 100 минут, каждая минута на 100 секунд. Были даже изготовлены несколько часов, отвечавших такому делению, но большинство часовых мастеров новшество не приняло, вынуждая французов жить по «рабскому» исчислению времени остальных народов. Поэтому закон от 18 жерминаля III года приостановил действие республиканского времени под тем предлогом, что оно, мол, было только в интересах ученых. Республиканский календарь просуществовал 14 лет – до 1 января 1806 г., когда он был отменен Наполеоном.

ибо, как было сказано в решении Конвента, «при разумном правительстве не должно существовать никаких паразитических учреждений».

Польза от таблиц Прони была не больше, чем от мишуры, украшавшей праздник Разума 20 брюмера II года Республики, хотя эти фетиши рационализма, прославляемые как выражение меры самой Природы (десятичная система была объявлена столь же естественной, как человеческая рука [15, р. 5]), меры вечной и неизменной. На деле же их символическая мощь была обратно пропорциональна их практической полезности и они остались монументом революционного иррационализма, а не инструментом действительно необходимых рациональных реформ.

Кстати, о десятичной системе мер. Ее введение многие рассматривали не только в научном и экономическом контекстах, но и в политико-идеологическом. В законе от 18 жерминаля III года Республики (7 апреля 1795 г.) говорилось: «Как могут друзья равенства терпеть пестроту и неудобство мер, хранящих еще память о позорном феодальном рабстве?» Закон предлагал гражданам «дать доказательства своей преданности единству и неделимости республики, пользуясь уже теперь новыми мерами в своих расчетах и сделках» [35, Р. 207-215].

Клод Антуан Приер де ла Кот д'Ор (*C.A. Prieur-Duvernois* или *Prieur de la Côte d'Or*; 1763 – 1832), по образованию военный инженер, уверял, что десятичная система – это технический язык страны Утопии: «сколь счастливы мы станем оттого, что нам не придется более ни с кому обращаться, чтобы произвести расчеты, касающиеся нашего процветания, нашей собственности, наших расходов и выпивки. Нам не придется иметь дело с людьми, которые извлекают выгоду из нашего невежества» [42, р. 4-5].

Кондорсе же напрямую связывал десятичную систему с демократией, поскольку новая система мер и весов сделает, по его мнению, всех граждан «самодостаточными в расчетах, связанных с их интересами, без чего они не могут быть ни по-настоящему равными ... , ни подлинно свободными» [19, р. 3-4]. И только мудрый П.С. Лаплас в 1811 г. признался Наполеону, что главное предназначение новой метрической системы, по замыслу ее создателей, состояло не в сокрушении феодальной метрологии, а в том, чтобы все величины делились на десять [14, р. 193]. Лаплас выбрал вполне подходящее время для этого признания – революционная риторика и демагогия к тому времени уже отошли в историю, социо-культурная ситуация также изменилась, талант перестали рассматривать как *virtuoso* по части перестановок и комбинаций идей [21, Р. 186] и скучную, трудоемкую и малооплачиваемую работу вычислителя стали поручать тем, кого не считали обремененными большими способностями к творческой интеллектуальной деятельности, т. е. женщинам, кои и выполняли роль живого процессора при составлении астрономических, статистических и прочих таблиц по крайней мере до конца Второй мировой войны. Но вернемся к 90-м гг. XVIII столетия.

Вдохновленный идеей производственного разделения труда, детально рассмотренной в первых главах *The Wealth of Nations* (1776) Адама Смита, Прони задумал свести сложные математические вычисления к рутинным операциям, не требующим от подавляющего большинства исполнителей творческого подхода: «Мне сразу же пришла идея применить тот же метод (т. е. метод разделения труда, описанный А. Смитом. – И.Д.) к той колоссальной работе, которая на меня свалилась и фабриковать мои логарифмы так же, как производят иголки» [45, р. 5]. Предложенной им иерархии вычислительных задач соответствовала иерархия исполнителей: на вершине исполнительской пирамиды – горстка талантливых математиков (*géomètres d'un très grand mérite*), таких как А. Лежандр и Л. Карно, которые разрабатывали расчетную процедуру (т. е. выводили аналитические формулы для вычислений), далее следовали семь-восемь *calculateurs*, которые организовывали вычислительный процесс по предложенным формулам, основание же пирамиды составляли 70-80 исполнителей (*ouvriers*), знакомых с азами арифметики и способных аккуратно складывать и вычитать. На первых порах эти рабочие функции выполняли девушки сомнительного поведения, которым Революция открыла новые жизненные перспективы. Грандиозная и бессмысленная работа этой вычислительной мануфактуры (*ateliers de calcul*), начатая в 1791 г. была окончательно завершена к 1801 г. Она уместилась в семнадцать томов *in folio* и полностью никогда не публиковалась, оставшись, по мнению Л. Дастон, символом соединения того, что прежде считалось несоединимым – высокого искусства анализа и рутинной работы, ученых высокого ранга и безвестных, малообразованных *ouvriers*.¹⁹

Размышляя в 1800 г. о взаимоотношениях между обществом и литературой мадам де Сталь бросила несколько уничижительных слов в адрес ученого люда: «Ученые относят все, что не поддается логике расчета (*calcul*) к иллюзиям. Они сначала оценивают силу правительства – неважно, какого – а затем, поскольку у них нет иных желаний, кроме как предаваться своим трудам в мире и спокойствии, приносят обет послушания тем, кто в данный момент оказывается у власти. ... И никто так не радуется сердцу абсолютного монарха, как те, кто глубоко погружен в поиск физических законов, оставив мораль любому, кто захочет ею воспользоваться» [47, р. 79].

Как и в предыдущем сюжетном блоке этого раздела, обращенном к области натуральной истории, здесь, на примере математического проекта Прони, также просматривается соотношенность (если не структурный изоморфизм) приемов научной и политической репрезентации реальности, природной и социальной. Вычислительная работа, самой своей громадностью и точностью вызывавшая поначалу восхищенное удивление публики – сродни ее восторгам подвигами *naturalistes voyageurs*, – став механически-рутинной, противопоставлялась не

¹⁹ См. [21, Р. 190]. Впрочем, реализованная Прони схема организации вычислений навела англичанина Чарльза Бэббиджа на мысль заменить ошибающегося человека-вычислителя безошибочной машиной.

только силе интеллекта, но и спонтанности морального импульса, а подчас и самой жизни.

Рутинизация «производства логарифмов» (мероприятие само по себе морально непредосудительное) в смысловой матрице эпохи Террора оказалась сопряженной с почти мануфактурной рутинной фабрикацией смертных приговоров, а также процедуры их исполнения, о чем свидетельствует письмо Шарля-Анри Сансона, палача Старого Режима и старого закала, доктору Жозефу Гильотену, депутату Учредительного собрания, человеку нового режима. По сообщению *Moniteur* от 11 октября 1789 г. «Г-н Гильотен прочел свой доклад, в котором он устанавливает принцип, согласно которому закон должен быть равным для всех ... Развитие этого принципа приводит к положению, которое Гильотен предлагает собранию обсудить (речь шла об «отсечении головы при помощи простого приспособления» – *И.Д.*). Доклад часто прерывался аплодисментами, часть собрания, в видимом возбуждении, требует немедленного обсуждения, в то время как другая часть, кажется, предполагает возражать» [цит. по: 7, с. 24-26]. Сансон поначалу с неудовольствием наблюдал, как люди науки вмешиваются в его ремесло, но потом написал Гильотену, что, поскольку после каждой казни меч зазубривается и его надо оттачивать и выравнивать заново, да и по многим иным причинам, доставляющим палачу лишние хлопоты и неудобства, пожалуй, стоит ввести в употребление новый аппарат, который позволил бы работать с большей точностью и с большей производительностью. Конечно, как и в описанной выше ситуации с математическими таблицами, рутинизация и механизация умаляют славу, но увеличивают производительность труда (конечно, при правильном его разделении).

Свобода и Террор росли из одного корня – из веры в универсальный характер ценностей науки как парадигмы рациональной деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Абрамов М.А.* Шотландская философия века Просвещения. М., 2000.
2. *Гоббс Т.* Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского // *Гоббс Т.* Сочинения в 2-х тт. Т. 2. М., 1991.
3. *Зенкин С.Н.* Французский романтизм и идея культуры (аспекты проблемы). М., 2001.
4. *Канаев И.И.* Жорж Кювье (1769-1832). Л., 1976.
5. *Кондильяк Э.* Логика, или начала искусства мыслить // *Кондильяк Э.* Сочинения в 2-х тт. Т. 3. М., 1983.
6. *Кондильяк Э.* Опыт о происхождении человеческих знаний // *Кондильяк Э.* Сочинения в 2-х тт. Т. 1. М., 1980.
7. *Революционный трибунал в эпоху Великой Французской революции.* Воспоминания современников и документы. Под ред. проф. Е.В. Тарле. Ч. 1. Петроград, 1918-1919.

8. *Свифт Дж.* Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, потом капитана нескольких кораблей // Дж. Свифт. Избранное. Л., 1987.
9. *Сен-Жюст Л.-А.* Речи. Трактаты. СПб., 1995.
10. *Ямпольский М.* Физиология символического. Книга I. Возвращение Левиафана: Политическая теология, репрезентация власти и конец Старого режима. М., 2004.
11. *Barthélemy G.* Les savants sous la Révolution. Paris, 1988;
12. *Bentham J.* An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. London, 1970.
13. *Bibliothèque de l'Institut de France.* Paris. Fonds Cuvier, 3159. «Analyse d'un ouvrage de M. Humboldt intitulé: "Tableaux de la Nature ou Considérations sur les Deserts, sur la Physionomie des Végétaux et sur les Cataractes de l'Orenoque"; traduit de l'allemand par J.B.B. Eyries».
14. *Bigourdan G.* Le système métrique des poids et mesures: son établissement et sa propagation graduelle. Paris, 1901.
15. *Borda Ch., Lagrange J.L., Lavoisier A.L., Tillet M., Caritat M.J.A.N., marquis de Condorcet.* Rapport // Histoire de L'Académie des Sciences de Paris, 1788.
16. *Boyer F.* Le Muséum d'Histoire naturelle à Paris et l'Europe des sciences sous la Convention // Revue d'Histoire des Sciences. 1973. T. 26. № 3.
17. *Boyer F.* Les conquêtes scientifiques de la Convention // Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine. 1971. T. 18.
18. *Burke E.* Reflections on the Revolution in France [1790]. Harmondsworth, 1968.
19. *Condorcet C.* Mémoires sur les monnoies. Paris, 1790.
20. *Cuvier G.* Recueil des éloges historiques. En 3 t. T. 3. Paris – Strasbourg, 1819 – 1827.
21. *Daston L.* Enlightenment Calculations // Critical Inquiry. 1994. Vol. 21.
22. *Elias N.* Involvement and Detachment. Oxford, 1987.
23. *Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des arts, des sciences et des métiers.* En 17 tt. Paris, 1751 – 1765. T. 2.
24. *Falls W.* Buffon et l'agrandissement du Jardin du Roi à Paris // Archives du Muséum national d'Histoire naturelle. 1934. Ser. 6. T. 6.
25. *Favre A.* Les origines du système métrique. Paris, 1931.
26. *Fontenelle [B. le Bovier de]* Histoire du renouvellement de l'Académie royale des sciences en MDCXCIX et les éloges historiques. En 2 tt. Amsterdam, 1719-1720. T. 1.

27. *Fourcroy A., Thouin A.* Extrait des registres du Muséum d'Histoire Naturelle sur la fête funéraire relative à l'inhumation du corps du Citoyen Daubenton, dans le Jardin de cet établissement. Ann. VIII. Paris, 1800.
28. *French Caricature and the French Revolution.* Los Angeles, 1988.
29. *Gillispie Ch.* Science and Polity in France: The Revolutionary and Napoleonic Years. Princeton, 2004.
30. *Hahn R.* The Anatomy of a Scientific Institution: The Paris Academy of Sciences, 1666-1803. Berkely, 1971.
31. *Hamy E.T.* Etienne Geoffroy St. Hilaire: Lettres écrites d'Egypte à Cuvier, Jussieu, Lacepède, Monge, Desgenettes, Redouté jeune, Norry, etc. aux professeurs du Muséum et sa famille. Paris, 1901.
32. *Hamy E.T.* La mission d'Etienne Geoffroy St Hilaire en Espagne et en Portugal, 1808: histoire et documents // Nouvelles Archives du Muséum. 4-t Sér. 1908. T. 10.
33. *Hatcheson F.* An Inquiry Concerning Moral Good and Evil // An Inquiry into the Original of our Ideas of Beauty and Virtue. London, 1725.
34. *Heilbron J.L.* Introductory Essay // The Quantifying Spirit in the Eighteenth Century. Berkely – Los Angeles – Oxford, 1990.
35. *Heilbron J.L.* The Measure of Enlightenment // The Quantifying Spirit in the Eighteenth Century. Berkely – Los Angeles – Oxford, 1990.
36. *Jaume L.* Le discours jacobin et la démocratie. Paris, 1989.
37. *Johnson S.* The History of Rasselas, Prince of Abissinia. London, 1968.
38. *Le Muséum d'Histoire Naturelle a Paris et l'Europe des sciences sous la Convention* // Revue d'Histoire des Sciences. 1973. T. 26.
39. *Outram D.* Georges Cuvier: Vocation, science and authority in post-revolutionary France. Manchester, 1984.
40. *Outram D.* New spaces in natural history // Cultures of natural history. Cambridge, 1996.
41. *Paine T.* The Rights of Man. Harmondsworth, 1969.
42. *Prieur C.A.* Instruction sur le calcul décimal, appliqué principalement au nouveau système des poids et mesures. Paris, 1795.
43. *Prony G. R. de* De intelligence moyenne et de ses progrès. Bibliothèque de l'Ecole des Ponts et Chaussées. Paris, 1771.
44. *Prony G. R. de.* Notices sur les grandes tables logarithmiques et trigonométriques, adaptées au nouveau système métrique décimale. Paris, 1824.
45. *Prony G. R. de.* Notice sur les grandes tables logarithmiques et trigonométriques, calculées au bureau du cadastre sous la direction du citoyen Prony // Mémoires de l'Institut National des Sciences et des Arts: Sciences mathématiques et phisiques. T. 5. Fructidor. Ann. XII.
46. *Sieyès E.* Qu'est-ce que le Tiers état? Genève, 1970.

47. *Staël G. de De la Littérature*. Paris, 1991.
48. *Strien-Chardonneau M.M.G. van*. La correspondance d'André Thouin (1747-1824) et de Martinus van Marum (1750-1837), 1796-1818 // *Lias: Sources and Documents relating to the Early Modern History of Ideas*. 1997. Vol. 24.
49. *Strien-Chardonneau M.M.G. van*. Regard des Français sur les Hollandais aux XVIIIe siècle ou apologie du bonheur bourgeois // *L'Europe des politesses et le caractère des nations*. Paris, 1997.
50. *Strien-Chardonneau M.M.G. van* Voyages et lumieres: André Thouin en Belgique et en Hollande, 1794-1795 // *Transactions of the ninth international congress on the enlightenment*. Munster, 23-29 July 1995.
51. *Studies on Voltaire and the eighteenth century*, 346-348. Oxford, 1996.
52. *Yorke H.R.* Letters from France. London, 1814.